

**АДОГМАТИЗАЦИЯ ДОГМАТИЗИРОВАННОГО В РАССКАЗЕ
ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА «БОГ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗЕРКАЛО
РУССКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ»**

В раскрепощении умов, начавшемся в российском обществе в годы гласности, велика роль литературы. И сам феномен литературы становится объектом полемики, что распространяется и на фигуру писателя.

Расставание с вульгаризаторскими взглядами, догмами марксистско-ленинской эстетики, идеологемами советского литературоведения отразили «Рассказы о писателях» (1990) Вячеслава Пьецуха, написанные под видом статей. Центральное место в них принадлежит «прозе» «Бог среди людей, или Зеркало русской контрреволюции», уже заглавие которой содер-

жит полемику со статьей В. И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», а содержание — со всей советской «наукой о литературе». Фигура Л. Толстого избрана как максимально полно выражающая собой сам «феномен писателя», гения, производящего переворот в культуре и человеческих душах. «Неподдельный гений», по В. Пьецуху, — «родитель какого-то нового бытия», «несколько Саваоф», «тем более что он тоже неограничен во времени и пространстве» [1, с. 56]. Это подлинный дар природы человечеству, причем на многие века вперед, существо, «выношенное, рожденное, воспитанное по какому-то горнему образцу» [1, с. 153], «относящееся больше к вечности, нежели к злобе дня, недаром великий Гегель называл его доверенным лицом мирового духа» [1, с. 51]. Опираясь на категории, относящиеся ко всем временам и всем людям, писатель-гений «есть отрицание современности», не только реальность, но и идеалы которой всегда уже и дефективнее универсализма, преломляемого творчеством писателя-гения. Принадлежа современности и будущему и в силу внутренней свободы будучи как бы автономным, гений едва ли не всегда оказывается в конфликте с современным ему обществом, и, по словам В. Пьецуха, «всякая действительность настойчиво вытесняет гения из себя, как нечто кардинально враждебное собственному устройству» [1]. Судьбы гениев зачастую трагичны, причем Ф. Ницше показал, что это не исключение, а правило: массовое сознание всегда отстает от открывшегося гению, и на несколько поколений. История культуры настраивает, следовательно, на толерантное отношение к писателю хотя бы профессионально занимающихся изучением литературы как основу литературоведческой этики (ведь только будущее покажет, кто прав, кто ошибается), мобильное, свободное (в том числе от собственных стереотипов) мышление, обновляющееся вместе с литературой. Литература по самой своей природе противится сужению жизни (взглядов на жизнь), и ее развитие по предуказанному пути резко ограничивает спектр потенциально заложенных в ней возможностей и может привести к ее деградации. Советская литература, например, была жестко ориентирована на линейный принцип исторического развития и призвана художественно воплощать попытку реализации Проекта Коммунизма, к тому же — с идеологически регламентированных позиций и в эстетически нормативных формах. Поскольку реального приближения к коммунизму не было, напротив, возобладали регрессивные тенденции, она оторвалась от жизни, в значительной своей части трансформировалась в индустрию социальных мифов. На толстовском примере особенно наглядно проступает абсурдность идеи партийного руководства литературой, многие десятилетия в Советском Союзе считавшейся аксиомой. «Руководить» писателем, тем более писателем-гением, невозможно в принципе: и потому, что творческое вдохновение нельзя вызвать искусственно, оно во многом иррационально, и потому что удачное литературное произведение — всегда открытие чего-то нового (Ф.-В.-Й. Шеллинг и А. Шопенгауэр вообще считали искусство высшим типом познания) и совершить его может только сам автор. Поэтому советское «руководство»

художественным творчеством — синоним его подавления, а партийность означает взгляд на жизнь под предзаданным углом зрения, утрату универсализма. Условно перемещая Л. Толстого в советский контекст, В. Пьецух прогнозирует отрицательное отношение писателя к революционному насилию и террору, включая насилие над литературой, в пародийном виде приводит квалификацию властью его взглядов как «эсеровщины с уклоном в анархо-синдикализм» [1, с. 69] и даже воссоздает сцену воображаемого допроса в тульской губчека 1918 г.:

«... Следовательно сидит в круглых очках, а напротив него великий писатель земли русской...

Следователь:

— Что это вы себе позволяете, гражданин Толстой? Тут, понимаете ли, разворачивается беспощадная классовая борьба, всякий сознательный элемент ополчается против гидры контрреволюции, которая спит и видит, как бы задушить диктатуру пролетариата, а вы опять — "Не могу молчать"! <...>».

Даже не хочется представлять, какие оргвыводы могли бы последовать из этого разговора» [37, с. 57] (действенность «руководства» не в последнюю очередь определялась тем, что сопротивлявшихся уничтожали).

В. И. Ленин увидел в Л. Толстом зеркало первой русской революции как революции неудавшейся, В. Пьецух разглядел в нем (его творчестве и учении) зеркало русской контрреволюции, тоже неудавшейся, но симптоматичной. Нетрудно было предугадать, что «юношество, воспитанное на Ростовых да на Болконских, потянется к Дутову да к Краснову. Коротко говоря, мир, воссозданный Львом Толстым, который вырос из глубочайшего понимания русского человека и русской жизни и на котором вскормились миллионы культурных людей, вошел в антагонистическое противоречие с Октябрем...» [1, с. 70]. Но этот мир оказался слабее, а альтернатива революции, предложенная Л. Толстым, — «новое христианство» («чистое христианство») — непосильной для исполнения в силу ее «перпендикулярности» самой человеческой природе. В. Пьецух замечает: «Видимо, невосприимчивость народа к чистому христианству в определенной степени была обусловлена неким аристократизмом самой религиозной идеи и сильным привкусом художественности в ее догмах, а это, как говорится, непонятно широким массам. Вместе с тем толстовство вообще не было рассчитано на живого, ординарного человека, то есть на огромное большинство. Христос тем-то и был премудр, что выработал общедоступное нравственное учение, основанное, в сущности, на прощении, которое мог исповедовать, а мог не исповедовать и раб, и господин, и неуч, и грамотей, и стойк и шалопай, и умница и дурак. Толстовство же налагало на человека без малого непосильную схиму, потому что, во-первых, оно предполагало в каждом неофите духовную подготовленность самого Толстого, во-вторых, по некоторым кардинальным пунктам входило в противоречие с человеческим естеством, в третьих, лишало свободы выбора...» [1, с. 62 — 63]. Точно так же не предусматривал свободы выбора, не был

ориентирован на реального человека марксизм-ленинизм, но обещал блаженство на земле без индивидуальных сверхусилий, направленных на самих себя. «... Величайшим мыслителем всех времен и народов, видимо, будет тот, кто сумеет подвести под общий, так сказать, всеразрешающий знаменатель временное и вечное, силу и слабость, добро и зло» [1, с. 63], — делает вывод автор.

Идеи разделяют людей и народы (хотя и без них тоже не прожить), литература и искусство, напротив, служат единению; и если учение Л. Толстого уязвимо (=утопично), то его художественное творчество неуязвимо для времени. Учителя человечества, пророки (называются Будда, Моисей, Христос, Магомет) не были писателями, из писателей (называются Гоголь, Достоевский, Л. Толстой) выходят неважные пророки. «... Религиозный пророк — это такая же профессия, как медик, писатель, инженер, и поэтому подразумевает особый талант, особую подготовку и особую организацию ума...» [1, с. 68]; тип творческой личности — иной, и прямое учительство, доказывает В. Пьецух, губит в писателе писателя: многозначное образное слово сменяется однозначным, универсализм — логоцентризмом, а то и дидактикой. Автор подвергает критической переоценке культ писателя-пророка, в конечном счете, тоже «партийца», ограничившего себя собственной доктриной и утратившего восприимчивость к иным резонам. Вот почему, восхищаясь Л. Толстым как великим писателем и необыкновенным человеком, В. Пьецух в комедийном виде изображает его как заложника толстовства:

«Особенно зашорен и до капризности неустойчив Лев Николаевич был в отношении венца своей религиозной доктрины — идеи непротивления злу насилием, то бишь даже не до капризности — до смешного. Однажды какой-то студент из Тулы, исповедовавший толстовство, прямодушно его спросил:

— А что, Лев Николаевич, если на меня набросится тигр? Вот так просто и отдаться ему на съедение?

Толстой ответил с самым серьезным видом:

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

— Ну а все-таки! Предположим, на меня нападает тигр...

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

— Ну а все-таки!

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

И так до полной невозможности продолжать теоретическую беседу» [1, с. 60–61].

Анекдотизм ситуации призван продемонстрировать поглупение человека, подчинившего свой ум идеологии (роль которой может играть и религия). Так что поздний Л. Толстой у В. Пьецуха еще и зеркало, в котором отразилась победа идеологии над искусством — его вытеснение из жизни писателя. Большевик только заменил одну идеологию другой и попытался распространить ее на всю литературу — с тем же результатом. Поэтому В. Пьецух не ограничивается деканонизацией Л. Толстого и сар-

кастическими выпадами против «опартинивших» русскую литературу. Что бы ни подминало эстетику, идеология или религия, искусство — как самая свободная область человеческого духа — в этом случае вянет и гибнет — вот «урок», извлекаемый автором из истории культуры. В. Пьецух утверждает: быть писателем («просто») — сверхдостаточно, чтобы принадлежать не только современности, но и будущему.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пьецух, В. Бог среди людей, или Зеркало русской контрреволюции / В. Пьецух // В. Пьецух Я и прочее. — М., 1990.